



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне кажется, я заслужил место в книге рекордов. Этот роман писался без одного года полвека. В 1958-м задуман, в 2007-м окончен. Задуман был сразу как эпическое, растянутое во времени сочинение. Отсюда и название «Жизнь и необычайные приключения». Меня все время удивляло, почему, читая книгу в том виде, в каком она была, ни один человек не спросил: «Приключения-то есть, а где же жизнь?» Жизни в первых двух книгах было всего-то лето и начало осени 1941 года.

В самом начале, замыслив роман, я сочинял его больше в уме, думал о разных поворотах сюжета, комических ситуациях, пересказывал их своим друзьям и тем удовлетворялся. Записывать не спешил, полагая, что времени впереди много. Его и в самом деле выпало достаточно, но не всякое оказалось пригодным для спокойного сочинительства. Мне кажется, что писать нечто эпическое можно только в эпическом состоянии духа, а оно у меня с конца шестидесятых годов и по крайней мере до середины восьмидесятых было не таковым. Ядерная сверхдержава объявила мне войну, пытаюсь остановить, как говорится, мое перо. Когда в Союзе писателей меня учили уму-разуму, писатель Георгий Березко нервно взывал: «Войнович, прекратите писать

вашего ужасного Чонкина». В КГБ меня настойчиво просили о том же, приведя более веские аргументы в виде отравленных сигарет.

Меня не посадили, но создали условия, способствовавшие больше сочинению не эпического полотна, а открытых писем то гневных, то язвительных, которыми я время от времени отбивался от нападавших на меня превосходящих сил противника. Я не оставлял своих попыток продолжения главного дела, но, раздраженный постоянными уколами и укусами своих врагов, все время сбивался на фельетонный стиль, на попытки карикатурно изобразить Брежнева или Андропова, хотя эти люди как характеры и прототипы возможных художественных образов никакого интереса не представляли. Они заслуживали именно только карикатуры и ничего больше, но роман-то я задумал не карикатурный.

Кстати сказать, я обозначил когда-то жанр сочинения как роман-анекдот, из чего некоторые критики сделали разнообразные выводы, но это обозначение было просто уловкой, намеком, что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно придирааться.

Покинув пределы СССР, а потом вернувшись в него освобожденным от постоянного давления, которому подвергался долгие годы, я много раз пытался вернуться к прерванной работе, исписал несколько пачек бумаги и почти все написанное выбросил. Ничего у меня не получалось. И сюжет складывался вымученный, и фразы затертые, что меня ужасно мучило и удивляло. Я думал, как же это так, ведь еще недавно было же во мне что-то такое, что привлекало внимание читающей публики. И все-таки, продолжая свои усилия, я снова и снова с тупым упорством толкал свой камень в гору.

Некоторые мои читатели убеждали меня, что «Чонкин» и так хорош и продолжения не требует,

но я, написав две первые книги, чувствовал, что не имею права умереть, не закончив третью. Мое состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, которая, выносив тройню, родила только двоих, а третий остался в ней на неопределенное время.

Был момент, когда мне вдруг совсем надоело «искусство ставить слово после слова» (Б. Ахмадулина), и я вообще бросил писать, сменив перо (точнее, компьютер) на кисть. Сорок лет подряд я хорошо ли, плохо ли, но писал что-нибудь практически каждый день. Никогда не испытывал недостатка в сюжетах и образах, а тут как отрезало. Ни образов, ни сюжетов. Текущая перед глазами жизнь не возбуждает потребности как-нибудь ее отразить. Рука не тянется к перу, перо к бумаге, и компьютер покрылся пылью. Потом я вернулся в литературу только частично: писал публицистику и мемуары. Они тоже, кстати, давались с трудом. А уж пытаюсь сочинить хотя бы небольшой рассказ, и вовсе чувствовал полную беспомощность начинающего. Как будто никогда ничего не писал.

В конце концов я решил, что, наверное, все, колодец исчерпался и нечего зря колотить ведром по пустому дну. И с мыслью об окончании «Чонкина» тоже пора проститься.

Высшие силы оказались ко мне снисходительны и позволили дожить до момента, когда я с радостью понял, что приговор, вынесенный мне мною самим, оказался преждевременным.

Тут я позволю себе отвлечься на лирику и посвятить читателя в некоторые подробности моей личной жизни. Будучи сторонником брака на всю жизнь, я тем не менее до недавнего времени был женат дважды. С первой женой через восемь лет разошелся, со второй прожил сорок лет до ее послед-

него вздоха. Так получилось, что первая книга «Чонкина» была написана при одной жене, вторая — при другой. Их присутствие в моей жизни так или иначе влияло на эту работу, которая в осуществленном виде временами сильно осложняла жизнь мою и моих жен, деливших со мной все последствия моих замыслов и поступков. Поэтому я решил, что правильно поступлю, если посвящу, хотя бы задним числом, первую книгу памяти Валентины, а вторую — Ирины.

Ирина умирала долго и тяжело. А когда все кончилось, я почувствовал полное опустошение, апатию и стал просто чахнуть. То есть как-то жил, что-то делал, писал что-то вялое, но не получал от этого да и от самого своего существования никакого удовольствия. Меня вернула к жизни Светлана, тоже какое-то время тому назад потерявшая самого близкого человека. Будучи существом жертвенным, она привыкла всегда о ком-то заботиться и, утратив предмет главной заботы, находилась в похожем на мое состоянии. Мне кажется, мы оба вовремя нашли друг друга.

Светлана окружила меня таким физическим и душевным комфортом, что мне ничего не осталось, как восстать из пепла. Я понял, что опять желаю жить, писать и, что интересно, даже могу это делать. Там, в колодце, оказывается, что-то все-таки накопилось. Я стер пыль с компьютера и остервенело застучал по клавишам, испытывая необычайное, давно забытое вдохновение. На семьдесят пятом году жизни я работал как в молодости. Путал день с ночью, поспешая за героями, которые, как раньше, сами себя творили. Могу сказать уверенно, что без Светланы этого бы не случилось. Поэтому третью книгу я по справедливости и с любовью посвящаю ей.

*Часть первая*  
ВДОВА  
ПОЛКОВНИКА



Присвоение Ивану Кузьмичу Дрынову очередного генеральского звания и звания Героя Советского Союза, естественно, привлекло к себе внимание советских журналистов. Тем более что случилось это в начале войны, когда Красная армия на всех фронтах отступала и генералов чаще расстреливали, чем награждали. А тут генерал оказался обласкан властью, и ходили слухи, что лично товарищ Сталин пил с ним чуть ли не на брудершафт. Конечно, журналисты кинутись к генералу со всех сторон, но расторопнее всех оказался, как всегда, корреспондент «Правды» Александр Криницкий, уже писавший о подвигах Дрынова. Будучи лично знакомым с генералом и представляя главную партийную газету, он прежде других добился у Дрынова повторного приема. Прием состоялся в подмосковном санатории, куда генерал был послан для короткого отдыха и восстановления сил.

Криницкий нашел генерала прогуливающимся по ковровым дорожкам первого этажа в полосатой пижаме с прикрученной к ней Золотой звездой. Они устроились в холле под фикусом. Криницкий достал из полевой сумки блокнот, а Дрынов из кармана — пачку папирос «Северная Пальмира». Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что, хотя ему и удалось провести блестящую военную операцию, не надо забывать, что подобные удачи бывают у генералов только тогда, когда отважно воюют ру-



ководимые ими солдаты. Тут к слову он вспомнил о Чонкине и подробно рассказал Криницкому о подвиге этого бойца. О том, как тот, защищая самолет, совершивший вынужденную посадку, героически сражался с целым полком, но теперь уже, с каким именно полком, уточнять не стал.

Поскольку участники беседы были сильно выпивши, рассказ генерала Криницкий запомнил неточно, а блокнот свой по дороге в редакцию потерял. Пытаясь восстановить рассказ Дрынова, он вспомнил, что Чонкин охранял самолет, на котором сам же как будто и прилетел. Поэтому Криницкий решил, что Чонкин был летчиком. Дальше нехватку материала он восполнил полетом своей журналистской фантазии, которая его никогда не подводила. Это, кажется, именно он создал миф о двадцати восьми героях-панфиловцах, вошедший в учебники истории как неоспоримый факт подвига, при котором он сам почти как будто присутствовал. Этих героев, якобы принявших неравный бой с немецкими танками и погибших у разъезда Дубосеково, он придумал и приписал мифическому комиссару Ключкову мифическую фразу, которую тоже, естественно, сочинил и которой гордился до самой смерти: «Отступать некуда, позади Москва!» Да и не только гордился, но каждого, кто сомневался в полной или хотя бы частичной достоверности легенды, подвергал в печати такой резкой критике, что на долю усомнившегося выпадали большие испытания.

Вот и о подвиге летчика Чонкина Криницкий сочинил очерк, который в редакции был признан лучшим материалом недели, а потом и месяца и был вывешен на специальной доске. Криницкий целый месяц ходил чрезвычайно довольный собой, гордо выпятив грудь и живот. Впрочем, нет, не месяц, он всегда ходил, гордо выпятив все, что мог, потому

что через месяц оказывалось, что, к зависти коллег-журналистов, он опять написал лучший очерк о том, чего не видел. Газета с очерком о Чонкине разошлась по всей стране и могла бы сразу дойти до Долговского района, но не дошла, потому что район был еще оккупирован немцами, читавшими в основном газету не «Правда», а «Фёлькишер бео-бахтер».

## 2

Одним из прилежных читателей «Фёлькишер бео-бахтер» был военный комендант города Долгова оберштурмфюрер СС господин Хорст Шлегель. Сейчас он сидел в своем кабинете, бывшем кабинете бывшего секретаря райкома ВКП(б), героически погибшего Андрея Ревкина. В кабинете с переменой властей ничего принципиально не изменилось: тот же двутумбный, покрытый зеленым сукном канцелярский стол хозяина, тот же длинный стол, приставленный к главному буквой «Т», для заседаний бюро райкома, а теперь неизвестно для чего. Перемена коснулась только портретов. Раньше за спиной секретаря висели портреты Ленина и Сталина, а теперь за спиной коменданта — портрет Гитлера. А от Ленина и Сталина остались два невыгоревших пятна.

В описываемый момент комендант был занят тем, что, насвистывая известную немецкую песню «Ich weiss nicht was soll es bedeuten» на слова еврейского поэта Гейне, собирал посылку жене Сабине из города Ингольштадт. Таким образом он решил наконец ответить на ее многократные и нелепые просьбы прислать ей шелковые чулки, кружевные панталоны и французские духи, потому что ей яко-

бы совершенно не в чем ходить в церковь или в театр. Он ей в ответ первый раз написал, что в церковь и даже в театр не обязательно ходить в кружевном белье, он очень надеется, что никто ей под юбку не заглядывает ни в театре, ни даже на исповеди, а если кто-то где-то и заглядывает, то он ничем этому способствовать не только не хочет, но и не может, потому что здесь того, что она просит, просто нет. Сабина замечание насчет возможных подглядывателей под ее юбку пропустила мимо ушей, но выразила недоумение: неужели там, где он служит, нет женщин, а если есть, то в чем же они посещают церкви и театры? В пример Хорсту она привела их бывшего соседа мыловара Йохана Целлера, который своей Бербель регулярно присылает и нижнее белье, и верхнюю одежду, и косметику. «Mein Shatz (сокровище мое), — отвечал ей язвительно Шлегель, — насколько мне известно, мой друг Йохан служит в Париже, а я в данный момент нахожусь в маленьком российском городе, который ты даже не найдешь на карте. Поверь мне, между этим городом и Парижем есть очень большая разница, и ассортимент здешних товаров не совсем совпадает с тем, что можно найти во французских бутиках».

Поскольку она объяснения его игнорировала и те же просьбы повторяла в каждом письме, он решил ее проучить и по совету своей помощницы фрау Каталины фон Хайс собрал-таки посылку, в которую вложил то, что носили здешние женщины: трикотажные рейтузы с резинками под коленями, шерстяные носки, ватные штаны, ватную телогрейку, объяснил письменно, что это типичный гардероб здешних дам, и ко всему приложил флакон тройного одеколona. Он укладывал свои подарки в картонную посылочную коробку, когда в дверь заглянула только что упомянутая Каталина фон Хайс.